

ИОСИФ
БРОДСКИЙ

НОВЫЕ
СТАНСЫ
К
АВГУСТЕ



АРДИС



ИОСИФ
БРОДСКИЙ

НОВЫЕ
СТАНСЫ
К
АВГУСТЕ

(Стихи к М. Б., 1962-1982)

ARDIS

Copyright © 1983 by Joseph Brodsky

**Ardis Publishers
2901 Heatherway
Ann Arbor, Michigan 48104**

**ISBN 0-88233-775-0 (cloth)
ISBN 0-88233-776-9 (paper)**

НОВЫЕ
СТАНСЫ
К
АВГУСТЕ

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидел, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал, поблескивал паркет,
темнела печка, в раме запыленной
застыл пейзаж, и лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.
Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижности сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.

1962

ПЕСЕНКА

„Пролитую слезу
из будущего привезу,
вставлю ее в колечко.
Будешь гулять одна,
надевай его на
безымянный, конечно.”

„Ах, у других мужья,
перстеньки из рыжья,
серьги из перламутра.
А у меня — слеза,
жидкая бирюза,
просыхает под утро.”

„Носи перстенок, пока
виден издалека;
потом другой подберется.
А надоест хранить,
будет что уронить
ночью на дно колодца.”

НОЧНОЙ ПОЛЕТ

В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч
и на звезды глядел,
и в кармане моем заблудившийся ключ
все звенел не у дел,
и по сетке скакал надо мной виноград,
акробат от тоски;
был далек от меня мой родной Ленинград,
и все ближе — пески.

Бессеребряной сталью мерцало крыло,
приближаясь к луне,
и чучмека в папахе рвало, и текло
это под ноги мне.
Бился льдинкой в стакане мой мозг в забытьи:
над одною шестой
в небо ввинчивал с грохотом нимбы свои
двухголовый святой.

Я бежал от судьбы, из-под низких небес,
от распластанных дней,
из квартир, где я умер и где я воскрес
из чужих простыней;
от сжимавших рассудок махровым венцом
откровений, от рук,
припадал я к которым и выпал лицом
из которых на Юг.

Счастье этой земли, что взаправду кругла,
что зрачок не берет

из угла, куда загнан, свободы угла,
но и наоборот;
что в кошачьем мешке у пространства хитро
прогрызаешь дыру,
чтобы слез европейских сушить серебро
на азийском ветру.

Что на свете — верней, на огромной вельми,
на одной из шести —
что мне делать еще, как не хлопать дверьми
да ключами трясти!
Ибо вправду честней, чем делить наш ничей
круглый мир на двоих,
променять всю безрадостность дней и ночей
на безадресность их.

Дуй же в крылья мои не за совесть и страх,
но за совесть и стыд.
Захлебнусь ли в песках, разобьюсь ли в горах
или Бог пощадит —
все едино, как сбившийся в строчку петит
смертной памяти для:
мегалополис туч гражданина ль почитит,
отщепенца ль — земля.

Но, услышишь, когда не найдешь меня ты
днем при свете огня,
как в Быково на старте грохочут винты:
это — помнят меня
зеркала всех радаров, прожекторов, лик
мой хранящих внутри;
и — внехрамовый хор — из динамика крик

грянет медью: Смотри!
Там летит человек! не грусти! улыбнись!
Он таращится вниз
и сжимает в руке виноградную кисть,
словно бог Дионис.

1962

В твоих часах не только ход, но тишь.
Притом, их путь лишен подобья круга.
Так в ходиках: не только кот, номышь;
они живут, должно быть, друг для друга.
Дрожат, скребутся, путаются в днях,
но их возня, грызня и неизбежность
почти что незаметна в деревнях,
где вообще в домах роится живность.
Там каждый час стирается в уме,
и лет былых бесплотные фигуры
теряются — особенно к зиме,
когда в сениях толпятся козы, овцы, куры.

Ты — ветер, дружок. Я — твой
лес. Я трясу листвою,
изъеденною весьма
гусеницею письма.
Чем яростнее Борей,
тем листья эти белей.
И божество зимы
просит у них взаймы.

Что ветру говорят кусты,
листом бедны?
Их речи, видимо, просты,
но нам темны.
Перекрывая лязг ведра,
скрипящий стул —
"Сегодня ты сильнее. Вчера
ты меньше дул."
А ветер им — "Грядет зима!"
"О, не губи."
А может быть — "Схожу с ума!"
"Люби! люби!"
И в сумерках колотит дрожь
мой мезонин. . .

Их диалог не разберешь,
пока один.

Черные города,
воображенья грязь.
Сдавленное „когда”,
выплюнутое „вчера”,
карканье воронка,
камерный айболит,
вдавливанье позвонка
в стиранный неолит.

— Вот что нас ждет, дружок,
до скончанья времен,
вот в чем твой сапожок
чавкать приговорен,
также как мой штиблет,
хоть и не нов на вид.
Гончую этот след
не воодушевит.

Вот оттого нога,
возраст подметки для,
и не спешит в бега,
хоть велика земля.
Так что через плечо
виден беды рельеф,
где белеет еще
лампочка, перегорев.

Впрочем, итог разрух —
с фениксом схожий смрад.

Счастье — суть роскошь двух;
горе — есть демократ.
Что для слезы — впервой,
то — лебеда росе.
Вдохновлены травой,
мы делаемся, как все.

То-то идут домой
вдоль большака столбы —
в этом, дружок, прямой
виден расчет судьбы,
чтобы не только Бог,
ночь сотворивший с днем,
слиться с пейзажем мог
и раствориться в нем.

1962-63

ЗАГАДКА АНГЕЛУ

Мир одеял разрушен сном.
Но в чем-то напряженном взоре
маячит в сумраке ночном
окном разрезанное море.
Висит в кустах аэростат.
Две лодки тонут в разговорах,
что туфли в комнате блестят,
но устрицам не дают створок.

Подушку обхватив, рука
сползает по столбам отвесным,
вторгаясь в эти облака
своим косноязычным жестом.
О камень порванный чулок,
изогнутый впотьмах, как лебедь,
раструбом смотрит в потолок,
как будто почерневший невод.

Два моря с помощью стены,
при помощи неясной мысли,
здесь как-то так разделены,
что сети в темноте повисли
пустыми в этой глубине,
но все же ожидают всплыть
от пущенной сквозь крест в окне,
связующей их обе, нити.

Звезда желтеет на волне,
маячат неподвижно лодки.
Лишь крест вращается в окне
подобием простой лебедки.
К поверхности из двух пустот
два невода ползут отвесно,
надеясь: крест перенесет
и опустит в другое место.

Так тихо, так не слышно слов,
что кажется окну пустому:
надежда на большой улов
сильней, чем неподвижность дома.
И вот уж в темноте ночной
окну с его сияньем лунным
две грядки кажутся волной,
а куст перед крыльцом — буруном.

И дом недвижим, и забор
во тьму ныряет поплавками,
и воткнутый в крыльцо топор
один следит за топляками.
Часы стрекочут. Вдалеке
ворчаньем заглушает катер,
как давит устрицы в песке
ногой бесплотный наблюдатель.

Два глаза источают крик.
Лишь веки, издавая шорох,
во мраке защищают их
собою наподобье створок.

Как долго эту боль топить,
захлестывать моторной речью,
чтоб дать ей оспой проступить
на теплой белизне предплечья?

Как долго? До утра? Едва ль.
И ветер паутину гонит,
из веток шевеля вуаль,
где глаз аэростата тонет.
Сеть выбрана; в кустах уход
свистком предупреждает кражу.
И молча замирает тот,
кто бродит в темноте по пляжу.

1962

Ветер оставил лес
и взлетел до небес,
оттолкнув облака
и белизну потолка.

И, как смерть холодна,
роща стоит одна,
без стремленья вослед,
без особых примет.

Январь, 1964 г.

ЛОМТИК МЕДОВОГО МЕСЯЦА

Не забывай никогда,
как хлещет в пристань вода,
и как воздух упруг —
как спасительный круг.

А рядом — чайки галдят,
и яхты в небо глядят,
и тучи вверх летят,
словно стая утят.

Пусть же в сердце твоём,
как рыба, бьется живьем
и трепещет обрывок
нашей жизни вдвоем.

Пусть слышится устриц хруст,
Пусть топорщится куст.
И пусть тебе помогает
страсть, достигшая уст,

понять — без помощи слов —
как пена морских валов,
достигая земли,
рождает гребни вдали.

1963

ИЗ "СТАРЫХ АНГЛИЙСКИХ ПЕСЕН"

1.

Заспорят ночью мать с отцом.
И фразы их с глухим концом
велят, не открывая глаз,
застыть к стене лицом.

Рыдает мать, отец молчит.
И козодой во тьме кричит.
Часы над головой стучат,
и в голове — стучит. . .

Их разговор бросает в дрожь
не оттого, что слышишь ложь,
а потому, что — их дитя —
ты сам на них похож:

молчишь, как он (вздохнуть нельзя),
как у нее, ползет слеза.
"Разбудишь сына." — "Нет, он спит."
Лежит, раскрыв глаза!

И слушать грех, и грех прервать.
Не громче, чем скрипит кровать,
в ночную пору то звучит,
что нужно им и нам скрывать.

4. ЗИМНЯЯ СВАДЬБА

Я вышла замуж в январе.
Толпились гости во дворе,
и долго колокол гудел
в той церкви на горе.

От алтаря, из-под венца,
видна дорога в два конца.
Я посылаю взгляд свой вдаль,
и не вернуть гонца.

Церковный колокол гудит.
Жених мой на меня глядит.
И столько свеч для нас двоих!
И я считаю их.

1963

ПЕСНИ СЧАСТЛИВОЙ ЗИМЫ

Песни счастливой зимы
на память себе возьми,
чтоб вспоминать на ходу
звуков их глухоту:
местность, куда, какмышь,
быстрый свой бег стремишь,
как бы там ни звалась,
в рифмах их улеглась.

Так что, вытянув рот,
так ты смотришь вперед,
как глядит в потолок,
глаз пыля, ангелок.
А снаружи — в провал
снег, белей покрывал
тех, что нас занесли,
но зимы не спасли.

Значит, это весна.
То-то крови тесна
вена: только что взрежь —
море ринется в брешь.
Так что виден насквозь
вход в бессмертие врозь,
вызывающий грусть,
но вдвойне: наизусть.

Песни счастливой зимы
на память себе возьми.

То, что спрятано в них,
не отыщешь в иных.
Здесь, от снега чисты,
воздух секут кусты,
где дрожит средь ветвей
радость жизни твоей.

1963

Ты выпорхнешь, малиновка, из трех
малинников, припомнивши в неволе,
как в сумерках вторгается в горох
ворсистое люпиновое поле.
Сквозь сомкнутые вербные усы
— туда, где, замирая на мгновенье,
бесчисленные капельки росы
сбегают по стручкам от столкновенья.

Малинник встрепенется, но в залог
оставлена догадка, что, возможно,
охотник, расставляющий силок,
валежником хрустит неосторожно.
На деле же — лишь ленточка тропы
во мраке извивается, белея.
Не слышно ни журчанья, ни стрельбы,
ни видно ни Стрельца, ни Водолея.

Лишь ночь под перевернутым крылом
бежит по опрокинувшимся кущам,
— настойчива, как память о былом,
безмолвном, но по-прежнему живущем.

24.5.1964

ПЕСНЯ

Пришел сон из семи сел.
Пришла лень из семи деревень.
Собирались лечь, да простыла печь.
Окна смотрят на север.
Сторожит у ручья скирда ничья,
и большак развезло, хоть бери весло.
Уронил подсолнух башку на стебель.

То ли дождь идет, то ли дева ждет.
Запрягай коней да поедem к ней.
Невеликий труд бросить камень в пруд.
Подопьем, на шелку постелим.
Отчего молчишь и как сыч глядишь?
Иль зубчат забор, как еловый бор,
за которым стоит терем?

Запрягай коня да вези меня.
Там не терем стоит, а сосновый скит.
И цветет вокруг монастырский луг.
Ни амбаров, ни изб, ни гумен.
Не раздумал пока, запрягай гнедка.
Всем хорош монастырь, да с лица — пустырь,
и отец игумен, как есть, безумен.

1964

Как тюремный засов
разрешается звоном от бремени,
от калмыцких усов
над улыбкой прошедшего времени,
так в ночной темноте,
обнажая надежды беззубие,
по версте, по версте
отступает любовь от безумия.

И разинутый рот
до ушей раздвигая беспамятством,
как садок для щедрот
временным и пространственным пьяницам,
что в горящем дому
ухитряясь дрожать над заплатами
и уставясь во тьму,
заедают версту циферблатами, —
боль разлуки с тобой
вытесняет действительность равную
не печальной судьбой,
а простой Архимедовой правдою.

Через гордый язык,
хоронясь от законности с тщанием,
от сердечных музык
пробираются память с молчанием
в мой последний пенат
— то ль слезинка, то ль веточка вербная —

и тебе не понять,
да и мне не расслышать, наверное:
то ли вправду звенит тишина,
как на Стиксе уключина,
то ли песня навзрыд сложена
и посмертно заучена.

1964

Деревья в моем окне, в деревянном окне,
деревню после дождя вдвойне
окружают посредством луж
караулом усиленным мертвых душ.

Нет под ними земли, но — листва в небесах,
и свое отражение в твоих глазах,
приготовившись мысленно к дележу,
я, как новый Чичиков, нахожу.

Мой перевернутый лес, воздавая вполне
должное мне, вовне шарит рукой на дне.

Лодка, плывущая посуху, подскакивает на волне.
В деревянном окне деревьев больше вдвойне.

1964

Шум ливня воскрешает по углам
салют мимозы, гаснущей в пыли.
И вечер делит сутки пополам,
как ножницы восьмерку на нули —
и в талии сужает циферблат,
с гитарой его сходство озарив.
У задержавшей на гитаре взгляд
пучок волос напоминает гриф.

Ее ладонь разглаживает шаль.
Волос ее коснуться или плеч —
и зазвучит окрепшая печаль;
другого ничего мне не извлечь.
Мы здесь одни. И, кроме наших глаз,
прикованных друг к другу в полутьме,
ничто уже не связывает нас
в зарешеченной наискось тюрьме.

1963

РАЗВИВАЯ КРЫЛОВА

Одна ворона (их была гурьба,
но вечер их в ольшанник перепрыгал)
облюбовала маковку столба,
другая — белоснежный изолятор.
Друг другу, так сказать, насупротив
(как требуют инструкций незабудки),
контроль над телеграфом учредив
в глуши, не помышляющей о бунте,
они расположились над крыльцом,
возвысаясь над околицей белёсой,
над сосланным в изгнание певцом,
над спутницей его длинноволосой.

А те, в обнимку, думая свое,
прижавшись, чтобы каждый обогрелся,
стоят внизу. Она — на острие,
а он — на изолятор загляделся.
Одно обоим чудится во мгле,
хоть (позабыв про сажу и про копоть)
она — все об уколе, об игле,
а он — об изоляции, должно быть;
Какой-то непонятный перебор,
какое-то подобие аврала:
ведь если изолирует фарфор,
зачем его ворона оседлала.

И все, что будет, зная назубок
(прослышавший знатоком бывшего тонким),
он высвободил локоть, и хлопок

ударил по вороньим перепонкам.
Та, первая, замешкавшись, глаза
зажмурила и крылья распростерла.
Другая же — взвилась под небеса
и каркнула во все воронье горло,
приказывая издали и впредь
фарфоровому шарiku (над нами)
помалкивать и взапуски белеть
с забредшими в болото валунами.

17.5.1964

ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ты знаешь, с наступленьем темноты
пытаюсь я прикидывать на глаз,
отсчитывая горе от версты,
пространство, разделяющее нас.

И цифры как-то сходятся в слова,
откуда приближаются к тебе
смятенье, исходящее от А,
надежда, исходящая от Б.

Два путника, зажав по фонарю,
одновременно движутся во тьме,
разлуку умножая на зарю,
рассчитывая встретиться в уме.

ЗИМНЯЯ ПОЧТА

I

Я, кажется, пою одной тебе.
Скорее тут нужда, чем скопидомство.
Хотя сейчас и ты к моей судьбе
не меньше глуховата, чем потомство.
Тебя здесь нет: сострив из-под полы,
не вызвать даже в стульях интереса
и мудрено дожидаться похвалы
от спящего заснеженного леса.

II

Вот оттого мой голос глуховат,
лишенный драгоценного залога,
что я не ужоу (не виноват)
совсем в специалисты монолога.
И все ж он громче шелеста страниц,
хотя бы и стремительней старея.
Но, прежде зимовавший у синиц,
теперь он занимает у Борея.

III

Не есть ли это взлет? Не обессудь
за то, что в этой подлинной пустыне,
по плоскости прокладывая путь,
я пользуюсь альтиметром гордыни.

Но впрямь, не различая впереди
конца и обнаруживши в бокале
лишь зеркальце свое, того гляди
отыщешь горизонт по вертикали.

IV

Вот так, как медоносная пчела,
жужжащая меж сосен безутешно,
о если бы ирония могла
со временем соперничать успешно,
чего бы я ни дал календарю,
чтоб он не осыпался сиротливо,
приклеивая даже к январю
опавшие листочки кропотливо.

V

Но мастер полиграфии во мне,
особенно бушующей зимою,
хоронится по собственной вине
под снежной, скрупулезной бахромой.
И бедная ирония в азарт
впадает, перемешиваясь с риском.
И выступает глуховатый бард
и борется с почтовым василиском.

VI

Прости. Я запускаю петуха.
Но это кукареку в стратосфере,
подальше от публичного греха,
не вынудит меня, по крайней мере,
остановиться с каменным лицом,
как Ахиллес, заполучивший в пятку
стрелу хулы с тупым ее концом,
и пользоваться себя сырым яйцом,
чтобы сорвать аплодисменты всмятку.

VII

Так ходики, оставив в стороне
от жизни два кошачьих изумруда.
молчат. Но если память обо мне
отчасти убедительнее чуда,
прости того, кто, будучи ленив
в пророчествах, воспользовался штампом,
хотя бы эдак век свой удлинив
пульсирующим, тикающим ямбом.

VIII

Снег, сталкиваясь с крышей, вопреки
природе, принимает форму крыши.
Но рифма, что на краешке строки,
взбирается к предшественнице выше.

И голос мой, на тысячной версте
столкнувшийся с твоим непостоянством,
весьма приобретает в глухоте
по форме, совпадающей с пространством.

IX

Здесь, в северной деревне, где дышу
тобой, где увеличивает плечи
мне тень, я возбуждение гашу,
но прежде парафиновые свечи,
чтоб не был тенью сон обременен,
гашу, предоставляя им в горячке
белеть во тьме, как новый Парфенон
в периоды бессоницы и спячки.

1964

ПСКОВСКИЙ РЕЕСТР

Не спутать бы азарт
и страсть (не дай нам,
Господь) . Припомни март,
семейство Найман.
Припомни Псков, гусей
и вполнакала,
фонарики, музей,
”Мытье” Шагала.

Уколы на бегу
(не шпилькой — пикой!) ;
сто маковых в снегу;
на льду Великой
катанье, говоря
по правде, сдуру,
сугробы, снегиря,
температуру.

Еще — объятий плен,
от жара смелый,
и вязаный твой шлем
из шерсти белой.
И черного коня,
и взгляд, печалью
сокрытый — от меня —
как плечи — шалью.

Кусты и пустыри,
деревья, кроны,

холмы, монастыри,
кресты, вороны.
И фрески те (в пыли) ,
где, молвить строго,
от Бога, от земли
равно немного.

Мгновенье — и прерву,
еще лишь горстка:
припомни синеву
снегов Изборска,
где разум мой парил,
как некий облак,
и времени дарил
мой ФЭД наш облик.

О синева бойниц
(глазниц) ! Домашний
барраж крикливых птиц
над каждой башней,
и дальше (оборви!)
простор с разбега.
И колыбель любви
— белее снега!

Припоминай и впредь
(хотя в разлуке
уже не разглядеть:
а кто там — в люльке)
те кручи и поля,
такси в равнине,
бифштексы, шницеля —
долги поныне.

Сумей же по полям,
по стрелкам, верстам
по занятым рублям
(почти по звездам!),
по формам без души
со всем искусством
Колумба (о спеши!)
вернуться к чувствам.

Ведь в том и суть примет
(хотя бы в призме
разлук) : любой предмет
— свидетель жизни.
Пространство и года
(мгновений груди) ,
ответы на "когда",
"куда", "откуда".

Впустив тебя в музей
(зеркальных зальцев) ,
пусть отпечаток сей
и вправду пальцев,
чуть отрезвит тебя —
придет на помощь
отдавшей вдруг себя
на миг, на полночь,

сомнениям во власть
и укоризне, —
когда печется страсть
о долгой жизни
на некой высоте,

как звук в концерте,
забыв о долготе,
— о сроках смерти!

И нежности приют
и грусти вестник,
нарушивший уют,
любви ровесник —
с пушинкой над губой
стихотворенье —
пусть радуется собой
хотя бы зренье.

1965

ГВОЗДИКА

В один из дней, в один из этих дней,
тем более заметных, что сильнее
дождь барабанит в стекла и почти
звонит в звонок, чтоб в комнату войти,
(где стол признает своего в чужом,
а чайные стаканы — старшим) ;
то ниже он, то выше этажом
по лестничным топчет маршам
и снова растекается в стекле;
и Альпы громоздятся на столе,
и, как орел, парит в ущельях муха; —
то в холоде, а то в тепле
ты все шатаешься, как тень, и глухо
под нос мурлычешь песни, как всегда,
и чай остыл; холодная вода
под вечер выгонит тебя из комнат
на кухню, где скрипящий стул
и газовой горелки гул
твой слух заполнят,
заглушат все чужие голоса,
а сам огонь, светясь голубовато,
поглотит, ослепив твои глаза,
не оставляя пепла — чудеса! —
сучки календаря и циферблата.
Но, чайник сняв, ты смотришь в потолок,
любясь трещинок системой,
не выключая черный стебелек
с гудящей и горящей хризантемой.

Дни бегут надо мной,
словно тучи над лесом,
у него за спиной
сбившись стадом белесым.
И, застыв над ручьем,
без мычания и звона,
налегают плечом
на ограду загона.

Горизонт на бугре
не проронит о бегстве ни слова.
И порой на заре
ни клочка от бывшего.
Предъявив свой транзит,
только вечер вчерашний
торопливо скользит
над скворешней, над пашней.

1964

Тебе, когда мой голос отзвучит
настолько, что ни отклика, ни эха,
а в памяти — улыбку заключит
затянутая воздухом прореха,
и жизнь моя за скобки век, бровей
навек отодвинется, пространство
зрачку расчистив так, что он, ей-ей,
уже простит (не верность, а упрямство),
— случайный, сонный взгляд на циферблат
напомнит нечто, тикавшее в лад
невесть чему, сбивавшее тебя
с привычных мыслей, с хитрости, с печали,
куда-то торопясь и торопя
настолько, что порой ночами
хотелось вдруг его остановить
и тут же — переполненное кровью,
спешившее, по-твоему, любить,
сравнить — его любовь с твоей любовью.

И выдаст вдруг тогда дрожанье век,
что было не с чем сверить этот бег, —
как твой брежет — а вдруг и он не прочь
спешить? И вот он в полночь брякнет . . .
Но темнота тебе в окошко звякнет
и подтвердит, что это вправду — ночь.

29 октября 1964 г.

Твой локон не свивается в кольцо,
(и пальца для него не подобрать)
в стремлении очерчивать лицо,
как ранее очерчивала прядь,
в надежде, что нарвался на растяп,
чьим помыслам стараясь угодить,
хрусталик на уменьшенный масштаб
вниманья не успеет обратить.

Со всей неумолимостью тоски,
(с действительностью грустной на ножах),
подобье подбородка и виски
большим и указательным зажав,
я быстро погружаюсь в глубину,
(особенно — устами), как фрегат,
идуший неожиданно ко дну
в наперстке, чтоб не плавать наугад.

По горло или все-таки по грудь,
хрусталик погружается во тьму.
Но дальше переносицы нырнуть
еще не удавалось никому.
Какой бы не почувствовал рывок
надежды, но — подальше от беды! —
всегда серо-зеленый поплавок
выскакивает к небу из воды.

Ведь каждый, кто в изгнании тосковал,
рад муку чем придется утолить
и первый подвернувшийся овал
любимыми чертами заселить.
И то уже удваивает пыл,
что в локонах покинутых слились
то место, где их Бог остановил,
с тем краешком, где ножницы прошлись.

Ирония на почве естества,
надежда в ироническом ключе,
колеблема разлукой, как листва,
как бабочка (не так ли?) на плече:
живое или мертвое оно,
— хоть собственными пальцами творим —
связующее легкое звено
меж образом и призраком твоим?

1964

РУМЯНЦЕВОЙ ПОБЕДАМ

Прядет кудель под потолком
дымок ночлежный.

Я вспоминаю под хмельком
Ваш образ нежный,
как вы бродили меж ветвей,
стройней пастушек,
вдвоем с возлюбленной моей
на фоне пушек.

Под жерла гаубиц морских,
под Ваши взгляды
мои волнения и стих
попасть бы рады.
И дел-то всех: коня да плетъ
и ногу в стремя!
Тем, первым, версты одолеть,
последним — время.

Сойдемся на берегах Невы,
а нет — Сухоны.

С улыбкою воззритесь Вы
на мисс с иконы.

Вообразив Вас за сестру
(по крайней мере) ,
целуя Вас, не разберу,
где — Вы, где — Мэри.

Но Ваш арапский конь как раз
в полях известных.

И я — достаточно увяз
в болотах местных.
Хотя б за то, что говорю
(Господь с словами!) ,
всем сердцем Вас благодарю
— спасенным Вами.

Прозрачный перекинув мост
(упрусь в колонну!) ,
пяток пятиконечных звезд
по небосклону
плетется ночью через Русь
— пусть к Вашим милым
устам переберется грусть
по сим светилам.

На четверть — сумеречный хлад,
на треть — упрямство,
наполовину — циферблат
и весь — пространство,
клянусь воздать Вам без затей
(в размерах власти
над сердцем) разностью частей —
и суммой страсти!

Простите ж, если что не так
(без сцен, стенаний) .
Благословил меня коньяк
на риск признаний.
Вы все претензии — к нему.
Нехватка хлеба,
и я зажевываю тьму.
Храни Вас небо.

Осенью из гнезда
уводит на юг звезда
певчих птиц поезда.

С позабытым яйцом
висит гнездо над крыльцом
с искаженным лицом.

И как мстительный дух,
в котором весь гнев потух,
на заборе петух

кричит, пока не охрип.
И дом, издавая скрип,
стоит, как поганый гриб.

1964

НОВЫЕ СТАНСЫ К АВГУСТЕ

I

Во вторник начался сентябрь.
Дождь лил всю ночь.
Все птицы улетели прочь.
Лишь я так одинок и храбр,
что даже не смотрел им вслед.
Холодный небосвод разрушен.
Дождь стягивает просвет.
Мне юг не нужен.

II

Тут, захороненный живьем,
я в сумерках брожу жнивьем.
Сапог мой разрывает поле
(бушует надо мной четверг),
но срезанные стебли лезут вверх,
почти не ощущая боли.
А прутья верб,
вонзая розоватый мыс
в болото, где снята охрана,
бормочут, опрокидывая вниз
гнездо жулана.

III

Стучи и хлюпай, пузырись, шурши.
Я шаг свой не убыстрою.
Известную Тебе лишь искру
гаси, туши.
Замерзшую ладонь прижав к бедру,
бреду я от бугра к бугру,
без памяти, с одним каким-то звуком,
подошвой по камням стучу.
Склоняясь к темному ручью,
гляжу с испугом.

IV

Что ж, пусть легла бессмысленности тень
в моих глазах, и пусть впиталась сырость
мне в бороду, и кепка — набекрень —
венчая этот сумрак, отразилась,
как та черта, которую душе
не перейти —
я не стремлюсь уже
за козырек, за пуговку, за ворот,
за свой сапог, за свой рукав.
Лишь сердце вдруг забьется, отыскав,
что где-то я пропорот. Холод
трясет его, мне в грудь попав.

V

Бормочет предо мной вода,
и тянется мороз в прореху рта.
Иначе и не вымолвить: чем может
быть не лицо, а место, где обрыв
произошел?
И смех мой крив
и сумрачную гать тревожит.
И крошит темноту дождя порыв.
И образ мой второй, как человек,
бежит от красноватых век,
подскакивает на волне
под соснами, потом под ивняками,
мешается с другими двойниками,
как никогда не затеряться мне.

VI

Стучи и хлюпай. Жуй подгнивший мост.
Пусть хляби, окружив погост,
высасывают краску крестовины.
Но даже этак кончикам травы
болоту не прибавить синевы. . .
Топчи овины,
бушуй среди густой еще листвы.
Вторгайся по корням в глубины
и там, в земле, как здесь, в моей груди
всех призраков и мертвецов буди.
И пусть они бегут, срезая угол,
по жниву к опустевшим деревьям

и машут налетевшим дням,
как шляпы пугал.

VII

Здесь на холмах, среди пустых небес,
среди дорог, ведущих только в лес,
жизнь отступает от самой себя
и смотрит с изумлением на формы,
шумящие вокруг. И корни
вцепляются в сапог, сопя,
и гаснут все огни в селе.
И вот бреду я по ничьей земле
и у Небытия прошу аренду.
И ветер рвет из рук моих тепло,
и плещет надо мной водой дупло,
и скручивает грязь тропинки ленту.

VIII

Да здесь как будто вправду нет меня.
Я где-то в стороне, за бортом.
Топорщится и лезет вверх стерня,
как волосы на теле мертвом,
и над гнездом, в траве простертом,
вскипает муравьев возня.
Природа расправляется с былым,
как водится. Но лик ее при этом,
пусть залитый закатным светом,
невольно делается злым.

И всею пятернею чувств — пятью
отталкиваюсь я от леса:
нет, Господи! в глазах завеса,
и я не превращусь в судью.
А если — на беду свою —
я все-таки с собой не слажу,
Ты, Боже, отруби ладонь мою,
как финн за кражу.

IX

Друг Полидевк. Тут все слилось в пятно.
Из уст моих не вырвется стенанье.
Вот я стою в распахнутом пальто,
и мир течет в глаза сквозь решето,
сквозь решето непониманья.
Я глуховат. Я, Боже, слеповат.
Не слышу слов, и ровно в двадцать ватт
горит луна. Пусть так. По небесам
я курс не проложу меж звезд и капель.
Пусть эхо тут разносит по лесам
не песнь, а кашель.

X

Сентябрь. Ночь. Все общество — свеча.
Но тень еще глядит из-за плеча
в мои листы и роется в корнях
оборванных. И призрак твой в сениях
шуршит и булькает водою,

и улыбается звездой
в распахнутых рывком дверях.

XI

Темнеет надо мною свет.
Вода затягивает след.

Да, сердце рвется все сильнее к тебе,
и оттого оно — все дальше.
И в голосе моем все больше фальши.
Но ты ее сочти за долг судьбе,
за долг судьбе, не требующей крови
и ранящей иглой тупой.
А если ты улыбку ждешь — постой!
Я улыбнусь. Улыбка над собой
могильной долговечней кровли
и легче дыма над печной трубой.

XII

Эвтерпа, ты? Куда зашел я, а?
И что здесь подо мной: вода, трава,
отросток лиры вересковой,
изогнутый такой подковой,
что счастье чудится, —
такой, что, может быть,
как перейти на иноходь с галопа
так быстро и дыхание не сбить,
не ведаешь ни ты, ни Каллиопа.

1964

ПРОРОЧЕСТВО

Мы будем жить с тобой на берегу,
отгородившись высоченной дамбой
от континента, в небольшом кругу,
сооруженном самодельной лампой.
Мы будем в карты воевать с тобой
и слушать, как безумствует прибой,
покашливать, вздыхая неприметно,
при слишком сильных дуновениях ветра.

Я буду стар, а ты — ты молода.
Но выйдет так, как учат пионеры,
что счет пойдет на дни — не на года, —
оставшиеся нам до новой эры.
В Голландии своей, наоборот,
мы разведем с тобою огород
и будем устриц жарить за порогом,
и солнечным питаться осьминогом.

Пускай шумит над огурцами дождь,
мы загорим с тобой по-эскимосски.
и с нежностью ты пальцем проведешь
по девственной, нетронутой полоске.
Я на ключицу в зеркало взгляну
и обнаружу за спиной волну
и старый "гейгер" в оловянной рамке
на выцветшей и пропотевшей лямке.

Придет зима, безжалостно крутя
осоку нашей кровли деревянной.

И если мы произведем дитя,
то назовем Андреем или Анной,
чтоб, к сморщенному личику привит,
не позабыт был русский алфавит,
чей первый звук от выдоха продлится
и, стало быть, в грядущем утвердится.

Мы будем в карты воевать, и вот
нас вместе с козырями отнесет
от берега извилистость отлива.
И наш ребенок будет молчаливо
смотреть, не понимая ничего,
как мотылек колотится о лампу,
когда настанет время для него
обратно перебраться через дамбу.

1965

О, как мне мил кольцообразный дым!
Отсутствие заботы, власти.
Какое поощрение грусти.
Я полюбил свой деревянный дом.

Закат ласкает табуретку, печь,
зажавшие окурок пальцы.
И синий дым нанизывает кольца
на яркий безымянный луч.

За что нас любят? За богатство, за
глаза и за избыток мощи.
А я люблю безжизненные вещи
за кружевные очертанья их.

Одушевленный мир не мой кумир.
Недвижимость — она ничем не хуже.
Особенно, когда она похожа
на движимость.

Не правда ли, Амур,
когда табачный дым вступает в брак,
барак приобретает сходство с храмом.

Но не понять невесте в платье скромном,
куда стремится будущий супруг.

1965

EINEM ALTEN ARCHITEKTEN IN ROM

I

В коляску — если только тень
действительно способна сесть в коляску
(особенно в такой дождливый день) ,
и если призрак переносит тряску,
и если лошадь упряжи не рвет —
в коляску, под зонтом, без верха,
мы молча взгромоздимся и вперед
покатим по кварталам Кенигсберга.

II

Дождь щиплет камни, листья, край волны.
Дразня язык, бормочет речка смутно,
чьи рыбки, навсегда оглушены,
с перил моста взирают вниз, как будто
заброшены сюда взрывной волной
(хоть сам прилив не оставлял отметки) .
Блестит кольчугой голавель стальной.
Деревья что-то шепчут по-немецки.

III

Вручи вознице свой сверхзоркий Цейсс.
Пушай он вбок свернет с трамвайных рельс
Ужель и он не слышит сзади звона?

Трамвай бежит в свой миллионный рейс.
Трезвонит громко и, в момент обгона,
перекрывает звонкий стук подков.
И, наклонясь — как в зеркало — с холмов
развалины глядят в окно вагона.

IV

Трепещут робко лепестки травы.
Аканты, нимбы, голубки́, голу́бки,
атланты, нимфы, купидоны, львы
смущенно прячут за спиной обрубки.
Не пожелал бы сам Нарцисс иной
зеркальной глади за бегущей рамой,
где пассажиры собрались стеной,
рискнувши стать на время амальгамой.

V

Час ранний. Сумрак. Тянет пар с реки.
Вкруг урны пляшут на ветру окурки.
И юный археолог черепки
ссыпает в капюшон пятнистой куртки.
Дождь моросит. Не разжимая уст,
среди равнин, припорошенных щебнем,
среди больших руин на скромный бюст
Суворова ты смотришь со смущеньем.

VI

Пир... пир бомбардировщиков утих.
С порталов март смывает хлопья сажки.
То тут, то там торчат хвосты шутих.
Стоят, навек окаменев, плюмажи.
И если здесь поковырять — по мне,
разбитый дом, как сеновал в иголках, —
то можно счастье отыскать вполне
под четвертичной пеленой осколков.

VII

Клен выпускает первый клейкий лист.
В соборе слышен пилорамы свист.
И кашляют грачи в пустынном парке.
Скамейки мокнут. И во все глаза
из-за ограды смотрит вдаль коза,
где зелень распустилась на фольварке.

VIII

Весна глядит сквозь окна на себя.
И узнает себя, конечно, сразу.
И зреньем наделяет тут судьба
все то, что недоступно глазу.
И жизнь бушует с двух сторон стены,
лишенная лица и черт гранита.
Глядит вперед, поскольку нет спины...
Хотя теней — в кустах битком набито.

IX

Но если ты не призрак, если ты
живая плоть, возьми урок с природы.
И, срисовав такой пейзаж в листы,
своей душе ищи другой структуры!
Отбрось кирпич, отбрось цемент, гранит,
разбитый в прах — и кем? — винтом крылатым,
на первый раз придав ей тот же вид,
каким сейчас ты помнишь школьный атом.

X

И пусть теперь меж чувств твоих провал
начнет зиять. И пусть за грустью томной
бушует страх и, скажем, злобный вал.
Спасти сердца и стены в век атомный,
когда скала — и та дрожит, как жердь,
возможно нам, скрепив их той же силой
и связью той, какой грозит им смерть;
чтоб вздрогнул я, расслышав слово: "милый".

XI

Сравни с собой или примерь на глаз
любовь и страсть и — через боль — истому.
Так астронавт, пока летит на Марс,
захочет ближе оказаться к дому.
Но ласка та, что далека от рук,
стреляет в мозг, когда от верст опешишь,
проворней уст: ведь небосвод разлук
несокрушимей потолков убежищ!

XII

Чик, чик, чирик. Чик-чик. — Посмотришь вверх.
И в силу грусти, а верней — привычки,
увидишь в тонких прутьях Кенигсберг.
А почему б не называться птичке
Кавказом, Римом, Кенигсбергом, а?
Когда вокруг — лишь кирпичи и щебень,
предметов нет, а только есть слова.
Но нету уст. И раздается щебет.

XIII

И ты простишь нескладность слов моих.
Сейчас от них — один скворец в ущербе.
Но он нагонит: чик, *Ich liebe dich*.
И, может быть, опередит: *Ich sterbe*.
Блокнот и Цейсс в большую сумку спрячь.
Сухой спиной повертись к флюгарке
и зонт сложи, как будто крылья — грач.
И только ручка выдаст хвост пулярки.

XIV

Постромки в ключья... Лошадь где?... Подков
не слышен стук... Петляя там, в руинах,
коляска катит меж пустых холмов...
Съезжает с них куда-то вниз... Две длинных
шлеи за ней... И вот — в песке следы
больших колес... Шуршат кусты в засаде...

И море, гребни чьи несут черты
того пейзажа, что остался сзади,
бежит навстречу и, как будто весть,
благую весть — сюда, к земной границе, —
влечет валы. И это сходство здесь
уничтожает в них, лаская спицы.

1964

ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ

То, куда вытянут нос и рот,
прочий куда обращен фасад,
то, вероятно, и есть "вперед";
все остальное считай "назад".
Но так как нос корабля на Норд,
а взор пассажир устремил на Вест
(иными словами, глядит за борт),
сложность растет с переменой мест.
И так как часто плывут корабли,
на всех парусах по волнам спеша,
физики вектор изобрели.
Нечто бесплотное, как душа.

Левиафаны лупят хвостом
по волнам от радости кверху дном,
когда указывает на них перстом
вектор призрачным гарпуном.
Сирены не прячут прекрасных лиц
и громко со скал поют в унисон,
когда весельчак-капитан Улисс
чистит на палубе смит-вессон.
С другой стороны, пусть поймет народ,
ищущий грань меж Добром и Злом:
в какой-то мере бредет вперед
тот, кто с виду кружит в былом.
А тот, кто — по Цельсию — спит в тепле,
под балдахином, и в полный рост,
с цезием в пятке (верней, в сопле)
пинает носком покрывало звезд.

А тот певец, что напрасно лил
на волны звуки, квасцы и иод,
спеша за метафорой в древний мир,
должно быть, о чем-то другом поет.

Двуликий Янус, твое лицо —
к жизни одно и к смерти одно —
мир превращают почти в кольцо,
даже если пойти на дно.
А если поплыть под прямым углом,
то, в Швецию словно, упруешься в страсть.
А если кружить меж Добром и Злом,
Левиафан разевает пасть.
И я, как витязь, который горд
коня сохранить, а живот сложить,
честно поплыл и держал Норд-Норд.
Куда — предстоит вам самим решить.
Прошу лишь учесть, что хоть рвется дух
вверх, паруса не заменят крыл;
хоть сходство в стремлениях этих двух
еще до Ньютона Шекспир открыл.

Я честно плыл, но попался риф,
и он насквозь пропорол мне бок.
Я пальцы смочил, но Финский залив
вдруг оказался весьма глубок.
Ладонь козырьком и грусть затая,
обозревал я морской пейзаж.
Но, несмотря на бинокли, я
не смог разглядеть пионерский пляж.
Снег повалил тут, и я застрял,
задрав к небосводу свой левый борт,

как некогда сам "Генерал-Адмирал
Апраксин". Но чем-то иным затерт.

Айсберги тихо плывут на Юг.
Гюйс шелестит на ветру.
Мыши беззвучно бегут на ют,
и, булькая, море бежит в дыру.
Сердце стучит, и летит снежок,
скрывая от глаз "воронье гнездо",
забив до весны почтовый рожок;
и вместо "ля" раздается "до".

Тает корма, но сугробы растут.
Люстры льда надо мной висят.
Обзор велик, и градусов тут
больше, чем триста и шестьдесят.
Звезды горят, и сверкает лед.
Тихо звенит мой челн.
Ундина под бушпритом слезы льет
из глаз, насчитавших миллиарды волн.

На азбуке Морзе своих зубов
я к вам взываю, профессор Попов,
и к вам, господин Маркони, в КОМ,
я свой привет пошлю с голубком.
Как пиво, пространство бежит по усам,
Пускай дирижабли и Линдберг сам
не покидают большой ангар.
Хватит и крыльев, поющих: "карр".
Я счет потерял облакам и дням.
Хрусталик не верит теперь огням.
И разум шепчет, как верный страж,

когда я вижу огонь: мираж.
Прощай, Эдисон, повредивший ночь.
Прощай, Фарадей, Архимед и проч.
Я тьму вытесняю посредством свеч,
как море — трехмачтовик, давший течь.
(И может сегодня в последний раз
мы, конюх, сражаемся в преферанс,
и пулю чертишь пером ты вновь,
которым я некогда пел любовь.)

Пропорот бок, и залив глубокий.
Никто не виновен: наш лоцман — Бог.
И только Ему мы должны внимать.
А воля к спасенью — смиренья мать.
И вот я грустный вчиняю иск
тебе, преподобный отец Франциск:
узрев пробоину, как автомат,
я тотчас решил, что сие — стигмат.

Но, можно сказать, начался прилив,
и тут раскрылся простой секрет:
то, что годится в краю олив,
на севере дальнем приносит вред.
И, право, не нужен сверхзоркий Цейсс.
Я вижу, что я проиграл процесс
гораздо стремительней, чем иной
язычник, желающий спать с женой.
Вода, как я вижу, уже по грудь,
и я отплываю в последний путь.
И, так как не станет никто провожать,
хотелось бы несколько рук пожать.

Доктор Фрейд, покидаю Вас,
сумевшего (где-то вне нас) на глаз
над речкой души перекинуть мост,
соединяющий пах и мозг.
Адье, утверждавший "терять, ей-ей,
нечего, кроме своих цепей".
И совести, если на то пошло.
Правда твоя, старина Шарло.
Еще обладатель брады густой,
Ваше сиятельство, граф Толстой,
любитель касаться ногой травы,
я Вас покидаю. И Вы правы.
Прощайте, Альберт Эйнштейн, мудрец.
Ваш не успев осмотреть дворец,
в Вашей державе слагаю скит:
Время — волна, а Пространство — кит.

Природа сама и ее щедрот
сыщики: Ньютон, Бойль-Марриот,
Кеплер, поднявший свой лик к Луне, —
вы, полагаю, приснились мне.
Мендель в банке и Дарвин с костями
макак, отношения мои с людьми,
их возраженья, зима, весна,
август и май — персонажи сна.

Снился мне холод и снился жар;
снился квадрат мне и снился шар,
щебет синицы и шелест трав.
И снилось мне часто, что я неправ.
Снился мне мрак и на волнах блик.
Собственный часто мне снился лик.

Снилось мне также, что лошадь ржет.
Но смерть — это зеркало, что не лжет.
Когда я умру, а сказать точней:
когда я проснусь, и когда скучней
на первых порах мне придется там,
должно быть, виденья, я вам воздам.
А впрочем, даже такая речь —
признак того, что хочу сберечь
тени; того, что еще люблю —
признак того, что я крепко сплю.

Итак, возвращая язык и взгляд
к барашкам на семьдесят строк назад,
чтоб как-то их с пастухом связать;
вернувшись на палубу, так сказать,
я вижу, собственно, только нос
и снег, что ундине уста занес
и нежный бюст превратил в сугроб.
Сейчас мы исчезнем, пловучий гроб.
И вот, отправляясь навек на дно,
хотелось бы твердо мне знать одно,
поскольку я не вернусь домой:
куда указуешь ты, вектор мой?

Хотелось бы думать, что пел не зря.
Что то, что я некогда звал "заря",
будет и дальше всходить, как встарь,
толкая хUDEЮЩИЙ календарь.
Хотелось бы думать, верней — мечтать,
что кто-то будет шары катать,
а некто — из кубиков строить дом.
Хотелось бы верить (увы, с трудом),

что жизнь водолаза пошлет за мной,
дав направление: "мир иной".

Постыдная слабость! Момент, друзья,
по крайней мере, надеюсь я,
что сохранит милосердный Бог
то, чего я лицезреть не смог.
Америку, Альпы, Кавказ и Крым,
долину Евфрата и вечный Рим,
Торжок, где почистить сапог — обряд,
и добродетелей неких ряд,
которых тут не рискну назвать,
чтоб заодно могли уповать
на Бережливость, на Долг и Честь
(хотя я не уверен в том, что вы — есть).
Надеюсь я также, что некий Швед
спасет от атомной бомбы свет,
что желтые тигры убавят тон,
что яблоко Евы иной Ньютон
сжует, а семечки бросит в лес,
что блюдца украсят сервиз небес.

Прощайте! пусть ветер свистит, свистит.
Больше ему уж не зваться злым.
Пускай Грядущее здесь грустит:
как ни вертись, но не стать Былым.
Пусть Кант-постовой засвистит в свисток.
А в Веймаре пусть Фейербах ревет:
"Прекрасных видений живой поток
щелчок выключателя не прервет!"
Возможно, так. А возможно, нет.
Во всяком случае (ветер стих),

как только Старушка погасит свет,
я знаю точно: не станет их.
Пусть жизнь продолжает, узрев в дупле
улитку, в охотничий рог трубить,
когда на скромном своем корабле
я, как сказал перед смертью Рабле,
отправляюсь в "Великое Может Быть"...

(размыто)

Мадам, Вы простите бессвязность, пыл.
Ведь Вам-то известно, куда я плыл
и то, почему я, презрев компас,
курс проверял, так сказать, на глаз.

Я вижу бульвар, где полно собак.
Скамейка стоит, и цветет табак.
Я вижу фиалок пучок в петле
и Вас я вижу, мадам, в букле.

Печальный взор опуская вниз,
я вижу светлого джерси мыс,
две легкие шляпки, их четкий рант.
На каждой, как маленький кливер, бант.

А выше (о звуки небесных арф)
подобный голландке, в полоску шарф
и волны, которых нельзя сомкнуть,
в которых бы я предпочел тонуть.

И брови, как крылья прелестных птиц,
над взором, которому нет границ
в мире огромном ни вспять, ни впредь,
который Незримому дал Смотреть.

Мадам, если впрямь существует связь
меж сердцем и взглядом (лучась, дробясь
и преломляясь) , заметить рад:
у Вас она лишена преград.

Мадам, это больше, чем свет небес.
Поскольку на полюсе можно без
звезд копошиться хоть сотню лет.
Поскольку жизнь — лишь вбирает свет.

Но Ваше сердце, точнее — взор
(как тонкие пальцы — предмет, узор)
рождает чувства, и форму им
светом оно придает своим.

(размыто)

И в этой бутылке у Ваших стоп,
свидетельстве скромном, что я утоп,
как астронавт посреди планет,
Вы сыщете то, чего больше нет.

Вас в горлышке встретит, должно быть, грусть.
До марки добравшись — и наизусть
запомнив — придете в себя вполне.
И встреча со мною Вас ждет на дне!

Мадам! Чтоб рассеять случайный сплин,
Bottoms up! — как сказал бы Флинн.
Тем паче, что мир, как в "Пиратах", здесь
в зеленом стекле отразился весь.

(размыто)

Так вспоминайте меня, мадам,
при виде волн, стремящихся к Вам,
при виде стремящихся к Вам валов
в беге строк в гуденьи слов...

Море, мадам, это чья-то речь...
Я слух и желудок не смог сберечь:
я нахлебался и речью полн...

(размыто)

Меня вспоминайте при виде волн!

(размыто)

Что парная рифма нам даст, то ей
мы возвращаем под видом дней.
Как, скажем, данные дни в снегу...
Лишь смерть оставляет, мадам, в долгу.

(размыто)

Что говорит с печалью в лице
кошке, усевшейся на крыльце,
снегирь, не спуская с последней глаз?
"Я думал, ты не придешь. *Alas!*"

1965

Колокольчик звенит —
предупреждает мужчину
не пропустить годовщину.
Одуванчик в зенит
задирает головку
беззаботную — в ней
больше мыслей, чем дней.
Выбегает на бровку
придорожную в срок
ромашка — неточный,
одноразовый, срочный
пророк.

Пестрота полевых
злаков пользует грудь от удушья.
Кашка, сумка пастушья
от любых болевых
ощущений зрачок
в одночасье готовы избавить.
Жизнь, дружок, не изба ведь.
Но об этом — молчок,
чтоб другим не во вред
(всюду уши: и справа, и слева) .
Лишь пучку курослепа
доверяешь секрет.

Колокольчик дрожит
под пчелою из улья
на исходе июля.

В тишине дребезжит
горох-самострел.
Расширяется поле
от обидной неволи.
Я на год постарел
и в костюме шута
от жестокости многоочитой
хоронюсь под защитой
травяного щита.

21 июля 1965

ДИДОНА И ЭНЕЙ

Великий человек смотрел в окно,
а для нее весь мир кончался краем
его широкой греческой туники,
обильем складок походившей на
остановившееся море.

Он же
смотрел в окно, и взгляд его сейчас
был так далек от этих мест, что губы
застыли точно раковина, где
таится гул, и горизонт в бокале
был неподвижен.

А ее любовь
была лишь рыбой — может и способной
пуститься в море вслед за кораблем
и, рассекая волны гибким телом,
возможно обогнать его — но он,
он мысленно уже ступил на сушу.
И море обернулось морем слез.
Но, как известно, именно в минуту
отчаянья и начинает дуть
попутный ветер. И великий муж
покинул Карфаген.

Она стояла
перед костром, который разожгли
под городской стеной ее солдаты,
и видела, как в мареве костра,
дрожащем между пламенем и дымом,
беззвучно распадался Карфаген

задолго до пророчества Катона.

СОНЕТ

Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существование для тебя.
...В который раз на старом пустыре
я запускаю в проволочный космос
свой медный грош, увенчанный гербом,
в отчаянной попытке возвеличить
момент соединения... Увы,
тому, кто не способен заменить
собой весь мир, обычно остается
крутить щербатый телефонный диск,
как стол на спиритическом сеансе,
покуда призрак не ответит эхом
последним воплям зуммера в ночи.

1967

К ЛИКОМЕДУ, НА СКИРОС

Я покидаю город, как Тезей —
свой Лабиринт, оставив Минотавра
смердеть, а Ариадну — ворковать
в объятьях Вакха.

Вот она, победа!
Апофеоз подвижничества. Бог
как раз тогда подстраивает встречу,
когда мы, в центре завершив дела,
уже бредем по пустырю с добычей,
навек уходя из этих мест,
чтоб больше никогда не возвращаться.

В конце концов, убийство есть убийство.
Долг смертных ополчаться на чудовищ.
Но кто сказал, что чудища бессмертны?
И, дабы не могли мы возомнить
себя отличными от побежденных,
Бог отнимает всякую награду,
тайком от глаз ликующей толпы,
и нам велит молчать. И мы уходим.

Теперь уже и вправду — навсегда.
Ведь если может человек вернуться
на место преступления, то туда,
где был унижен, он придти не сможет.
И в этом пункте планы Божества
и наше ощущение униженья
настолько абсолютно совпадают,
что за спиною остаются: ночь,

смердящий зверь, ликующие толпы,
дома, огни. И Вакх на пустыре
милуется в потемках с Ариадной.

Когда-нибудь придется возвращаться.
Назад. Домой. К родному очагу.
И ляжет путь мой через этот город.
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной
двуострого меча, поскольку город
обычно начинается для тех,
кто в нем живет, с центральных площадей
и башен.

Но для странника — с окраин.

1967

ПОЧТИ ЭЛЕГИЯ

В былые дни и я переживал
холодный дождь под колоннадой Биржи.
И полагал, что это — Божий дар.
И, может быть, не ошибался. Был же
и я когда-то счастлив. Жил в плену
у ангелов. Ходил на вурдалаков,
Сбегавшую по лестнице одну
красавицу в парадном, как Иаков,
подстерегал.

Куда-то навсегда
ушло все это. Спряталось. Однако,
смотрю в окно и, написав "куда",
не ставлю вопросительного знака.
Теперь сентябрь. Передо мною — сад.
Далекий гром закладывает уши.
В густой листве налившиеся груши,
как мужеские признаки, висят.
И только ливень в дремлющий мой ум,
как в кухню дальних родственников — скаред,
мой слух об эту пору пропускает:
не музыку еще, уже не шум.

Осенью, 1968

ЭЛЕГИЯ

Подруга милая, кабаk все тот же.
Все та же дрянь красуется на стенах,
все те же цены. Лучше ли вино?
Не думаю; не лучше и не хуже.
Прогресса нет, и хорошо, что нет.

Пилот почтовой линии, один,
как падший ангел, глушит водку. Скрипки
еще по старой памяти волнуют
мое воображение. В окне
маячат белые, как девство, крыши,
и колокол гудит. Уже темно.

Зачем лгала ты? И зачем мой слух
уже не отличает лжи от правды,
а требует каких-то новых слов,
неведомых тебе — глухих, чужих,
но быть произнесенными могущих,
как прежде, только голосом твоим.

1968

Отказом от скорбного перечня — жест
большой широты в крохоборе! —
сжимая пространство до образа мест,
где я пресмыкался от боли,
как спившийся кравец в предсмертном бреду,
заплатой на барское платье,
с изнанки твоих горизонтов кладу
на подвижность эту заклатье!

Проулки, предместья, задворки — любой
твой адрес — пустырь, палисадник, —
что избрано будет для жизни тобой,
давно, как трагедии задник,
настолько я обжил, что где бы любви
своей ни воздвигла ты ложе,
все будет не краше, чем храм на крови,
и общим бесплодием схоже.

Прими ж мой процент, разменяв чистоган
разлуки на брачных голубок!
За лучшие дни поднимаю стакан,
как пьет инвалид за обрубок.
На разницу в жизни свернув костыли,
будь с ней до конца солидарной:
не мягче на сплетне себе постели,
чем мне — на листве календарной.

И мертвым я буду существенней для
тебя, чем холмы и озера:
не большую правду скрывает земля,
чем та, что открыта для взора!
В тылу твоём каждый растоптанный знак
воспрянет, как петел лядащий,
и будут круги расширяться, как зрак —
вдогонку тебе, уходящей.

Глушеною рыбой всплывая со дна,
кочуя, как призрак по требам,
как тело, истлевшее прежде рядна,
так тень моя, взапуски с небом,
повсюду начнет возвещать обо мне
тебе, как заправский мессия,
и корчиться будет на каждой стене
в том доме, чья крыша — Россия.

Июнь, 1967 г.

СТРОФЫ

I

На прощанье — ни звука.
Граммофон за стеной.
В этом мире разлука —
лишь прообраз иной.
Ибо врозь, а не подле
мало веки смежать
вплоть до смерти: и после
нам не вместе лежать.

II

Кто бы ни был виновен,
но, идя на правед,
воздаяния ровень
с невиновным не ждешь.
Тем верней расстаемся,
что имеем в виду,
что в Раю не сойдемся,
не столкнемся в Аду.

III

Как подзол раздирает
бороздою соха,
правога разделяет
беспощадней греха.
Не вина, но оплошность
разбивает стекло.
Что скорбеть, расколовшись,
что вино утекло?

IV

Чем тесней единенье,
тем крошечней разрыв.
Не спасут затемнения
ни рапид, ни наплыв.
В нашей твердости толка
больше нету. В чести
одаренность осколка,
жизнь сосуда вести.

V

Наполняйся же хмелем,
осушайся до дна.
Только емкость поделим,
но не крепость вина.
Да и я не загублен,
даже ежели впредь,
кроме сходства зазубрин,
общих черт не узреть.

VI

Нет деленья на чуждых.
Есть граница стыда
в виде разницы в чувствах
при словце „никогда”.
Так скорбим, но хороним;
переходим к делам,
чтобы смерть, как синоним,
разделить пополам.

VII

Распадаются дома,
обрывается нить.
Чем мы были и что мы
не смогли сохранить, —
промолчишь поневоле,
коль с течением дней
лишь подробности боли,
а не счастья видней.

VIII

Невозможность свиданья
превращает страну
в вариант мирозданья,
хоть она в ширину,
завидуя к славе,
не уступит любой
залетейской державе;
превзойдет голытьбой.

IX

Что ж без пользы неволишь
уничтожить следы?
Эти строки всего лишь
подголосок беды.
Обрастание сплетней
подтверждает к тому ж:
расставанье заметней,
чем слияние душ.

Х

И, чтоб гончим не выдал
— ни моим, ни твоим —
адрес мой храпоидол
или твой — херувим,
на прощанье — ни звука;
только хор Аонид.
Так посмертная мука
и при жизни саднит.

1968

ANNO DOMINI

Провинция справляет Рождество.
Дворец Наместника увит омелой,
и факелы дымятся у крыльца.
В проулках — толчея и озорство.
Веселый, праздный, грязный, очумелый
народ толпится позади дворца,

Наместник болен. Лежа на одре,
покрытый шалью, взятой в Альказаре,
где он служил, он размышляет о
жене и о своем секретаре,
внизу гостей приветствующих в зале.
Едва ли он ревнует. Для него

сейчас важней замкнутся в скорлупе
болезней, снов, отсрочки перевода
на службу в Метрополию. Зане
он знает, что для праздника толпе
совсем не обязательна свобода;
по этой же причине и жене

он позволяет изменять. О чем
он думал бы, когда б его не грызли
тоска, припадки? Если бы любил?
Невольно зябко, поводя плечом,
он гонит прочь пугающие мысли.
...Веселье в зале умеряет пыл,

но все-же длится. Сильно опьянев,
вожди племен стеклянными глазами
взирают в даль, лишенную врага.
Их зубы, выражавшие их гнев,
как колесо, что сжато тормозами,
застряли на улыбке, и слуга

подкладывает пищу им. Во сне
кричит купец. Звучат обрывки песен.
Жена Наместника с секретарем
выскальзывают в сад. И на стене
орел имперский, выклевавший печень
Наместника, глядит нетопырем...

И я, писатель, повидавший свет,
пересекавший на осле экватор,
смотрю в окно на спящие холмы
и думаю о сходстве наших бед:
его не хочет видеть Император,
меня — мой сын и Цинтия. И мы,

мы здесь и сгинем. Горькую судьбу
гордыня не возвысит до улики,
что отошли от образа Творца.
Все будут одинаковы в гробу.
Так будем хоть при жизни разнолики!
Зачем куда-то рваться из дворца —

отчизне мы не судьи. Меч суда
погрязнет в нашем собственном позоре:
наследники и власть в чужих руках...
Как хорошо, что не плывут суда!

Как хорошо, что замерзает море!
Как хорошо, что птицы в облаках

субтильны для столь тягостных телес!
Такого не поставишь в укоризну.
Но может быть находится как раз
к их голосам в пропорции наш вес.
Пуškai летят поэтому в отчизну.
Пуškai орут поэтому за нас.

Отечество... чужие господа
у Цинтии в гостях над колыбелью
склоняются, как новые волхвы.
Младенец дремлет. Теплится звезда,
как уголь под остывшею купелью.
И гости, не коснувшись головы,

нимб заменяют ореолом лжи,
а непорочное зачатъе — сплетней,
фигурой умолчанья об отце...
Дворец пустеет. Гаснут этажи.
Один. Другой. И, наконец, последний.
И только два окна во всем дворце

горят: мое, где, к факелу спиной,
смотрю, как диск луны по редколесью
скользит и вижу — Цинтию, снега;
Наместника, который за стеной
всю ночь безмолвно борется с болезнью
и жжет огонь, чтоб различить врага.

Враг отступает. Жидкий свет зари,
чуть занимаясь на задворках мира,
вползает в окна, норовя взглянуть
на то, что совершается внутри;
и, натываясь на остатки пира,
колеблется. Но продолжает путь.

январь 1968, Паланга

ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Так долго вместе прожили, что вновь
второе января пришлось на вторник,
что удивленно поднятая бровь,
как со стекла автомобиля — дворник,
с лица сгоняла смутную печаль,
незамутненной оставляя даль.

Так долго вместе прожили, что снег
коль выпадал, то думалось — навеки,
что, дабы не зажмуривать ей век,
я прикрывал ладонью их, и веки,
не веря, что их пробуют спасти,
метались там, как бабочки в горсти.

Так чужды были всякой новизне,
что тесные объятия во сне
бесчестили любой психоанализ;
что губы, припадавшие к плечу,
с моими, задувавшими свечу,
не видя дел иных, соединялись.

Так долго вместе прожили, что роз
семейство на обшарпанных обоях
сменилось целой рощею берез,
и деньги появились у обоих,
и тридцать дней над морем, языкат,
грозил пожаром Турции закат.

Так долго вместе прожили без книг,
без мебели, без утвари на старом
диванчике, что — прежде, чем возник —
был треугольник перпендикуляром,
восставленным знакомыми стоймя
над слившимися точками двумя,

Так долго вместе прожили мы с ней,
что сделали из собственных теней
мы дверь себе — работаешь ли, спишь ли,
но створки не распахивались врозь,
и мы прошли их, видимо, насквозь
и черным ходом в будущее вышли.

Раньше здесь щебетал щегол
в клетке. Скрипела дверь.
Четко вплетался мужской глагол
в шелест платья. Теперь
пыльная капля на злом гвозде —
лампочка Ильича
льется на шашки паркета, где
произошла ничья.

Знающий цену себе квадрат,
видя вещей разброд,
не оплакивает утрат;
ровно наоборот:
празднует прямоту угла,
желтую рвань газет,
мусор, будучи догола,
до обоев раздет.

Печка, в которой погас огонь;
трещина по изразцу.
Если быть точным, пространству вонь
небытия к лицу.
Сука здесь не возьмет следа.
Только дверной проем
знает: двое, войдя сюда,
Вышли назад втроем.

СТИХИ В АПРЕЛЕ

В эту зиму с ума
я опять не сошел. А зима,
глядь, и кончилась. Шум ледохода
и зеленый покров
различаю. И, значит, здоров.
С новым временем года
поздравляю себя
и, зрачок о Фонтанку слепя,
я дроблю себя на сто.
Пятерней по лицу
провожу. И в мозгу, как в лесу —
оседание наста.

Дотянув до седин
я смотрю, как буксир среди льдин
пробирается к устью.

Не ниже

поминания зла
превращенье бумаги в козла
отпущенья обид.

Извини же

за возвышенный слог:
не кончается время тревог,
но кончаются зимы.
В этом — суть перемен,
в толчее, в перебранке Камен
на пиру Мнемозины.

Апрель, 1969

ЛЮБОВЬ

Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью
не приносили утешенья мне.

Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки

и выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва

умышленного. Ибо в темноте —
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготы.

В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных — тогда я
не дернусь к выключателю и прочь

руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недостигаемостью в ней.

Февраль 1971

СРЕТЕНИЕ

Когда она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук
Мари; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу; но он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведено старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
дитя: он — Твое продолжение и света

источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем.” — Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.

Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. ”Слова-то какие...”

И старец сказал, повернувшись к Марии:

”В лежащем сейчас на раменах твоих
падение одних, возвышение других,
предмет пререканий и повод к раздорам.

И тем же оружием, Мария, которым

терзаема плоть его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око.”

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.

Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он

шагал по застывшему храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь распахнувши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.

Он шел по пространству, лишенному тверди

он слышал, что время утратило звук.
И образ младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропой
душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.

Светильник светил, и тропа расширялась.

февраль 1972

ОДИССЕЙ ТЕЛЕМАКУ

Мой Телемак,
Троянская война
окончена. Кто победил — не помню.
Должно быть, греки: столько мертвецов
вне дома бросить могут только греки...
И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной,
как будто Посейдон, пока мы там
теряли время, растянул пространство.
Мне неизвестно, где я нахожусь,
что́ предо мной. Какой-то грязный остров,
кусты, постройки, хрюканье свиней,
заросший сад, какая-то царица,
трава да камни... Милый Телемак,
все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь; и мозг
уже сбивается, считая волны,
глаз, засоренный горизонтом, плачет,
и водяное мясо застит слух.
Не помню я, чем кончилась война,
и сколько лет тебе сейчас, не помню.

Расти большой, мой Телемак, расти.
Лишь боги знают, свидимся ли снова.
Ты и сейчас уже не тот младенец,
перед которым я сдержал быков.
Когда б не Паламед, мы жили вместе.
Но может быть и прав он: без меня
ты от страстей Эдиповых избавлен,
и сны твои, мой Телемак, безгрешны.

1972

Песчаные холмы, поросшие сосной.
Здесь сыро осенью и пасмурно весной.
Здесь море треплет на ветру оборки
свои бесцветные, да из соседских дач
порой послышится то детский плач,
то взвизгнет Лемешев из-под плохой иголки.

Полынь на отмели и тростника гнилье.
К штакетнику выходит снять белье
мать-одиночка. Слышен скрип уключин:
то пасынок природы, хмурый финн,
плывет извлечь свой невод из глубин,
но невод этот пуст и перекручен.

Тут чайка снизится, там промелькнет баклан.
То алюминиевый аэроплан,
уместный более среди облаков, чем птица,
стремится к северу, где бьет баклуши швед,
как губка некая вбирая серый цвет
и пресным воздухом не тяготится.

Здесь горизонту придают черты
своей доступности безлюдные форты.
Здесь блеклый парус одинокой яхты,
чертя прозрачную вдали лазурь,
вам не покажется питомцем бурь,
но — заболоченного устья Лахты.

И глаз, привыкший к уменьшенью тел
на расстоянии, иной предел
здесь обретает — где вообще о теле
речь не заходит, где утрат не жаль:
затем что большую предполагает даль
потеря из виду, чем вид потери.

Когда умру, пускай меня сюда
перенесут. Я никому вреда
не причиню, в песке прибрежном лежа.
Объятий ласковых, тугих клешней
равно бежавшему не отыскать нежней,
застираннее и безгрешней ложа.

Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской...
Анна Ахматова

Помнишь свалку вещей на железном стуле,
то, как ты подпевала бездумному "во саду ли,
в огороде", бренчавшему вечером за стеною;
окно, завешенное выстиранной простынею?
Непроходимость двора из-за сугробов, щели,
куда задувало не хуже, чем в той пещере,
преграждали доступ царям, пастухам, животным,
оставляя нас греться теплом животным
да армейской шинелью. Что напевала вьюга
переходящим за полночь в сны друг друга,
ни пружиной не скрипнув, ни половицей,
неповторимо ни голосом наяву, ни птицей,
прилетевшей из Ялты. Настоящее пламя
пожирало внутренности игрушечного аэроплана
и центральный орган державы плоской,
где китайская грамота смешана с речью польской
Не отдернуть руки, не избежать ожога,
измеряя градус угла чужого
в геометрии бедных, чей треугольник кратный
увенчан пыльной слезой стоватной.
Знаешь, когда зима тревожит бор Красноносом,
когда торжество крестьянина под вопросом,
сказуемое, ведомое подлежащим,
уходит в прошедшее время, жертвуя настоящим,
от грамматики новой на сердце пряча
окончания шепота, крика, плача.

Повернись ко мне в профиль. В профиль черты лица
обыкновенно отчетливее, устойчивее овала
с его бледовитыми свойствами колеса:
склонностью к перемене мест и т.д. и т.п. Бывало
оно на исходе дня напоминало мне,
мертвому от погони, о пульмановском вагоне,
о безумном локомотиве, ночью на полотне
останавливавшемся у меня в ладони,
и сова кричала в лесу. Нынче я со стыдом
понимаю — вряд ли сова; но в потемках любо-
дорого было путать сову с дроздом:
птицу широкой скулы с птицей профиля, птицей
клюва.

И хоть меньше сбоку видать, все равно не жаль
было правой части лица, если смотришь слева.
Да и голос тот за ночь мог расклевать печаль,
накрошившую голой рукой за порогом хлеба.

СТРОФЫ

I

Наподобье стакана,
оставившего печать
на скатерти океана,
которого не перекричать,
светило ушло в другое
полушарие, где
оставляют в покое
только рыбу в воде.

II

Вечером, дорогая,
здесь тепло. Тишина
молчанием попугая
буквально завершена.
Луна в кусты чистотела
льет свое молоко:
неприкосновенность тела,
зашедшая далеко.

III

Дорогая, что толку
пререкаться, вникать
в случившееся. Иголку
больше не отыскать
в человеческом сене.
Впору вскочить, разя
ть. Либо — вместе со всеми
передвигать ферзя.

IV

Все, что мы звали личным,
что копили, греша,
время, считая лишним,
как прибой с гольша,
стачивает — то лаской,
то посредством резца —
чтобы кончить цикладской
вещью без черт лица.

V

Ах, чем меньше поверхность,
тем надежда скромней
на безупречную верность
по отношению к ней.
Может, вообще пропажа
тела из виду есть
со стороны пейзажа
дальнозоркости месь.

VI

Только пространство кóрысть
в тычущем вдаль персте
может найти. И скорость
света есть в пустоте.
Так и портится зренье:
чем ты дальше проник.
Больше, чем от старенья
или чтения книг.

VII

Так же действует плотность
тьмы. Ибо в смысле тьмы
у вертикали плоскость
сильно берет займы.
Человек — только автор
сжатого кулака,
как сказал авиатор,
уходя в облака.

VIII

Чем безнадежней, тем как-то
проще. Уже не ждешь
занавеса, антракта,
как пылкая молодежь.
Свет на сцене, в кулисах
меркнет. Выходишь прочь
в рукоплесканье листьев,
в американскую ночь.

IX

Жизнь есть товар на вынос:
торса, пениса, лба.
И географии примесь
к времени есть судьба.
Нехотя, из-под палки
признаешь эту власть,
подчиняешься Парке,
обожаящей прясть.

X

Жухлая незабудка
мозга кривит мой рот.
Как тридцать третья буква,
я пядусь всю жизнь вперед.
Знаешь, все, кто далече,
по ком голосит тоска —
жертвы законов речи,
запятых, языка.

XI

Дорогая, несчастных
нет! нет мертвых, живых.
Всё — только пир согласных
на их ножках кривых.
Видно, сильно превысил
свою роль свинопас,
чей нетронутый бисер
переживет всех нас.

XII

Право, чем гуще россыпь
черного на листе,
тем безразличней особь
к прошлому, к пустоте
в будущем. Их соседство,
мало проча добра,
лишь ускоряет бегство
по бумаге пера.

XIII

Ты не услышишь ответа,
если спросишь "куда",
ибо стороны света
сводятся к царству льда.
У языка есть полюс,
Север, где снег сквозит
сквозь эльзевир; где голос
флага не водрузит.

XIV

Бедность сих строк — от жажды
что-то спрятать, сберечь;
обернуться. Но дважды
в ту же постель не лечь.
Даже если прислуга
там не сменит белье.
Здесь не Сатурн, и с круга
не соскочить в нее.

XV

С той дурной карусели,
что воспел Гесиод,
сходят не там, где сели,
но где ночь застаёт.
Сколько глаза ни колешь
тьмой — расчетом благим,
повторимо всего лишь
слово: словом другим.

XVI

Так барашка на вертел
нижут, разводят жар.
Я, как мог, обессмертил
то, что не удержал.
Ты, как могла, простила
все, что я натворил.
В общем, песня сатира
вторит шелесту крыл.

XVII

Дорогая, мы квиты.
Больше: друг к другу мы
точно оспа привиты
среди общей чумы:
лишь объекту злоречья
вместе с шансом в пятно
уменьшаться, предплечье
в утешенье дано.

XVIII

Ах, за щедрость пророчеств —
дней грядущих шантаж —
как за бич наших отчеств
память много не дашь.
Им присуща, как аист
свертку, приторность кривд.
Но мы живы, покамест
есть прощенье и шрифт.

XIX

Эти вещи сольются
в свое время в глазу
у воззрившихся с блюда
на пестроту внизу.
Полагаю и вправду
хорошо, что мы врозь —
чтобы взгляд астронавту
напрягать не пришлось.

XX

Вынь, дружок, из кивота
лик Пречистой Жены.
Вставь семейное фото —
вид планеты с Луны.
Снять нас вместе мордатый
не сподобился друг,
проморгал соглядатай;
в общем, всем недосуг.

XXI

Неуместней, чем ящур
в филармонии, вид
нас вдвоем в настоящем.
Тем верней удивит
обитателей завтра
разведенная смесь
сильных чувств динозавра
и кириллицы смесь.

XXII

Все кончается скукой,
а не горечью. Но
это новой наукой
плохо освещено.
Знавший истину стоик —
стоик только на треть.
Пыль садится на столик,
и ее не стереть.

XXIII

Эти строчки по сути
болтовня старика.
В нашем возрасте судьи
удлиняют срока.
Иванову. Петрову.
Своей хрупкой кости.
Но свободному слову
не с кем счета свести.

XXIV

Так мы лампочку тушим,
чтоб сшибить табурет.
Разговор о грядущем —
тот же старческий бред.
Лучше все, дорогая,
доводить до конца,
темноте помогая
мускулами лица.

XV

Вот конец перспективы
нашей. Жаль, не длинней.
Дальше — дивные дивы
времени, лишних дней,
скачек к финишу в шорах
городов, и т.п.;
лишних слов, из которых
ни одно о тебе.

XVI

Около океана,
летней ночью. Жара
как чужая рука на
темени. Кожура
снятая с апельсина
жухнет. И свой обряд,
как жрецы Элевсина,
мухи над ней творят.

XVII

Облокотясь на локоть,
я слушаю шорох лип.
Это хуже, чем грохот
и знаменитый всхлип.
Это хуже, чем детям
сделанное бо-бо.
Потому что за этим
не следует ничего.

ДВАДЦАТЬ СОНЕТОВ К МАРИИ СТЮАРТ

I

Мари, шотландцы все-таки скоты.
В каком колене клетчатого клана
предвиделось, что двинешься с экрана
и оживишь, как статуя, сады?
И Люксембургский, в частности? Сюды
забрел я как-то после ресторана
взглянуть глазами старого барана
на новые ворота и в пруды
Где встретил Вас. И в силу этой встречи,
и так как "все бывшее оживило
в отжившем сердце", в старое жерло
вложив заряд классической картечи,
я трачу, что осталось русской речи
на Ваш анфас и матовые плечи.

II

В конце большой войны не на живот,
когда что было жарили без сала,
Мари, я видел мальчиком, как Сара
Леандр шла топ-топ на эшафот.
Меч палача, как ты бы не сказала,
приравнивает к полу небосвод
(см. светило, вставшее из вод) .
Мы вышли все на свет из кинозала,
но нечто нас в час сумерек зовет
назад, в "Спартак", в чьей плюшевой утробе
приятнее, чем вечером в Европе.
Там снимки звезд, там главная — брюнет,
там две картины, очередь на обе.
И лишнего билета нет.

III

Земной свой путь пройдя до середины,
я, заявившись в Люксембургский сад,
смотрю на затвердевшие седины
мыслителей, письменников; и взад-
вперед гуляют дамы, господины,
жандарм синее в зелени, усат,
фонтан мурлычет, дети голосят,
и обратиться не к кому с "иди на".
И ты, Мари, не покладая рук,
стоишь в гирлянде каменных подруг,
французских королев во время оно,
безмолвно, с воробьем на голове.
Сад выглядит, как помесь Пантеона
со знаменитой "Завтрак на траве".

IV

Красавица, которую я позже
любил сильнее, чем Босуэла — ты,
с тобой имела общие черты
(шепчу автоматически "о, Боже",
их вспоминая) внешние. Мы тоже
счастливой не составили четы.
Она ушла куда-то в макинтоше.
Во избежанье роковой черты,
я пересек другую — горизонта,
чье лезвие, Мари, острее ножа.
Над этой вещью голову держа
не кислорода ради, но азота,
бурлящего в раздувшемся зобу,
гортань... того... благодарит судьбу.

V

Число твоих любовников, Мари,
 превысило собою цифру три,
 четыре, десять, двадцать, двадцать пять.
 Нет для короны большего урона,
 чем с кем-нибудь случайно переспать.
 (Вот почему обречена корона;
 республика же может устоять,
 как некая античная колонна) .
 И с этой точки зренья ни на пядь
 не сдвинете шотландского барона.
 Твоим шотландцам было не понять,
 чем койка отличается от трона.
 В своем столетии белая ворона,
 для современников была ты блядь.

VI

Я вас любил. Любовь еще (возможно,
 что просто боль) сверлит мои мозги.
 Все разлетелось к черту на куски.
 Я застрелиться пробовал, но сложно
 с оружием. И далее, виски:
 в который вдарить? Портила не дрожь, но
 задумчивость. Черт! все не по-людски!
 Я вас любил так сильно, безнадежно,
 как дай вам Бог другими — — — но не даст!
 Он, будучи на многое горазд,
 не сотворит — по Пармениду — дважды
 сей жар в крови, ширококостный хруст,
 чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
 коснуться — ”бюст” зачеркиваю — уст!

VII

Париж не изменился. Плас де Вож
по-прежнему, скажу тебе, квадратна.
Река не потекла еще обратно.
Бульвар Распай по-прежнему пригож.
Из нового — концерты за бесплатно
и башня, чтоб почувствовать — ты вошь.
Есть многие, с кем свидеться приятно,
но первым прокричавши "как живешь?"
В Париже, ночью, в ресторане... Шик
подобной фразы — праздник носоглотки.
И входит айне кляйне нахт мужик,
внося мордоворот в косоворотке.
Кафе. Бульвар. Подруга на плече.
Луна, что твой генсек в параличе.

VIII

На склоне лет, в стране за океаном
(открытой, как я думаю, при Вас),
деля помятый свой иконостас
меж печкой и продавленным диваном,
я думаю, сведи удача нас,
понадобились вряд ли бы слова нам:
ты просто бы звала меня Иваном,
и я бы отвечал тебе "*Alas.*"
Шотландия нам стала бы матрас.
Я б гордым показал тебя славянам.
В порт Глазго, караван за караваном,
пошли бы лапти, пряники, атлас.
Мы встретили бы вместе смертный час.
Топор бы оказался деревянным.

IX

Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг
сражения. "Ты кто такой?" — "А сам ты?"
"Я кто такой?" — "Да, ты." — "Мы протестанты."
"А мы — католики." — "Ах, вот как!" Хряск!
Потом везде валяются останки.
Шум нескончаемых вороньих дрызг.
Потом — зима, узорчатые санки,
примерка шали: "Где это — Дамаск?"
"Там, где самец-павлин прекрасней самки."
"Но даже там он не проходит в дамки"
(за шашками — передохнув от ласк).
Ночь в небольшом по-голливудски замке.

Опять равнина. Полночь. Входят двое.
И все сливается в их волчьем вое.

X

Осенний вечер. Якобы с Каменной.
Увы, не поднимающей чела.
Не в первый раз. В такие вечера
всё в радость, даже хор краснознаменный.
Сегодня, превращаясь во вчера,
себя не утруждает переменой
пера, бумаги, жижицы пельменной,
изделия хромого бочара
из Гамбурга. К подержанным вещам,
имеющим царапины и пятна,
у времени чуть больше, вероятно,
доверия, чем к свежим овощам.
Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете
в посадском, молю траченом жакете.

XI

Лязг ножниц, ощущение озноба.
Рок, жадный до каракуля с овцы,
что брачные, что царские венцы
снимает с нас. И головы особо.
Прощай, юнцы, их гордые отцы,
разводы, клятвы верности до гроба.
Мозг чувствует, как башня небоскреба,
в которой не общаются жильцы.
Так пьянствуют в Сиаме близнецы,
где пьет один, забуревают — оба.
Никто не прокричал тебе "Атас!"
И ты не знала "я одна, а вас...",
глуша латынью потолок и Бога,
увы, Мари, как выговорить "много".

XII

Что делает Историю? — Тела.
Искусство? — Обезглавленное тело.
Взять Шиллера: Истории влетело
от Шиллера. Мари, ты не ждала,
что немец, закусивши удила,
поднимет старое, по сути, дело:
ему-то вообще какое дело,
кому дала ты или не дала?

Но, может, как любая немчура,
наш Фридрих сам страшился топора.
А во-вторых, скажу тебе, на свете
ничем (вообрази это), опричь
Искусства, твои стати не постичь.
Историю отдай Елизавете.

XIII

Баран трясет кудряшками (они же
— руно), вдыхая запахи травы.
Вокруг Гленкорны, Дугласы и иже.
В тот день их речи были таковы:
"Ей отрубили голову. Увы."
"Представьте, как рассердятся в Париже."
"Французы? Из-за чьей-то головы?
Вот если бы ей тяпнули пониже..."
"Так не мужик ведь. Вышла в неглиже."
"Ну, это, как хотите, не основа..."
"Бесстыдство! Как просвечивала жэ!"
"Что ж, платья, может, не было иного."
"Да, русским лучше; взять хоть Иванова:
звучит как баба в каждом падеже."

XIV

Любовь сильней разлуки, но разлука
длинней любви. Чем статнее гранит,
тем явственней отсутствие ланит
и прочего. Плюс запаха и звука.
Пусть ног тебе не вскидывать в зенит:
на то и камень (это ли не мука?)
но то, что страсть, как Шива шестирука,
бессильна — юбку он не извинит.

Не от того, что столько утекло
воды и крови (если б голубая!),
но от тоски расстегиваться врозь
воздвиг бы я не камень, но стекло,
Мари, как воплощение гудбая
и взгляда, проникающего сквозь.

XV

Не то тебя, скажу тебе, сгубило,
Мари, что женихи твои в бою
поднять не звали плотников стропила;
не "ты" и "вы", смешавшиеся в "ю";
не чьи-то симпатичные чернила;
не то, что — за печатями семью —
Елизавета Англию любила
сильней, чем ты Шотландию свою
(замечу в скобках, так оно и было);
не песня та, что пела соловью
испанскому ты в камере уныло.
Они тебе заделали свинью
за то, чему не видели конца
в те времена: за красоту лица.

XVI

Тьма скрадывает, сказано, углы.
Квадрат, возможно, делается шаром,
и, на ночь глядя залитым пожаром,
багровый лес незримо курлы
беззвучно внемлет порами коры;
лай сеттера, встревоженного шалым
сухим листом, возносится к Стожарам,
смотрящим на озимые бугры.

Немногое, чем блазнилась слеза,
сумело уцелеть от перехода
в сень пережня. Вечному перу
из всех вещей, бросавшихся в глаза,
осталось следовать за временами года,
петь на-голос "Унылую Порую".

XVII

То, что исторгло изумленный крик
из аглицкого рта, что к мату
склоняет падкий на помаду
мой собственный, что отвернуть на миг
Филиппа от портрета лик
заставило и снарядить Армаду,
то было — — — не могу тираду
закончить — — — в общем, твой парик,
упавший с головы упавшей
(дурная бесконечность), он,
твой суть единственный поклон,
пускай не вызвал рукопашной
меж зрителей, но был таков,
что поднял на ноги врагов.

XVIII

Для рта, проговорившего "прощай"
тебе, а не кому-нибудь, не всё ли
одно, какое хлебово без соли
разжевывать впоследствии. Ты, чай,
привычная не к доремифасоли.
А, если что не так — не осерчай:
язык, что крыса, копошится в соре,
выскивает что-то невзначай.

Прости меня, прелестный истукан,
Да, у разлуки все-таки не дура
губа (хоть часто кажется — дыра) :
меж нами — вечность, также — океан.
Причем, буквально. Русская цензура.
Могли бы обойтись без топора.

XIX

Мари, теперь в Шотландии есть шерсть
(все выглядит, как новое, из чистки) .
Жизнь бег свой останавливает в шесть,
на солнечном не сказываясь диске.
В озерах — и по-прежнему им несть
числа — явились монстры (василиски) .
И скоро будет собственная нефть,
шотландская, в бутылках из-под виски.
Шотландия, как видишь, обошлась.
И Англия, мне думается, тоже.
И ты в саду французском непохожа
на ту, с ума сводившую вчерась.
И дамы есть, чтоб предпочесть тебе их,
но непохожие на вас обеих.

XX

Пером простым, неправда, что мятежным
я пел про встречу в некоем саду
с той, кто меня в сорок восьмом году
с экрана обучала чувствам нежным.
Предоставляю вашему суду:
а/ был ли он учеником прилежным,
в/ новую для русского среду,
с/ слабость к окончаниям падежным.

В Непале есть столица Катманду.

Случайное, являясь неизбежным,
приносит пользу всякому труду.

Ведя ту жизнь, которую веду,
я благодарен бывшим белоснежным
листам бумаги, свернутым в дуду.

Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря,
дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне —
как не сказано ниже по крайней мере —
я взбиваю подушку мычащим "ты"
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.

Ты забыла деревню, затерянную в болотах
залесенной губернии, где чучел на огородах
отродясь не держат — не те там злаки,
и дорогой тоже все гати да буераки.
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
а как жив, то пьяный сидит в подвале,
либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
говорят, калитку, не то ворота.
А зимой там колют дрова и сидят на репе,
и звезда моргает от дыма в морозном небе.
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили.

Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной
струн, продолжающая коричневеть в гостиной,
белеть а ля Казимир на выстиранном просторе,
темнеть — особенно вечером — в коридоре,
спой мне песню о том, как шуршит портьера,
как включается, чтоб оглушить полтела,
тень, как лиловая муха сползает с карты
и закат в саду за окном точно дым эскадры,
от которой осталась одна матроска,
позабывтая в детской. И как расческа
в кулаке дрессировщика-турка, как рыбку — леской,
возвышает болонку над Ковалевской
до счастливого случая тьявкнуть сорок
раз в день рожденья, — и мокрый порошок
гасит звезды салюта, громко шипя, в стакане,
и стоят графины кремлем на ткани.

22 июля 1978 г.

ЭЛЕГИЯ

До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу
в возбужденье. Что, впрочем, естественно. Ибо связки
не чета голой мышце, волосу, багажу
под холодными буркалами, и не бздюме утряски
вещи с возрастом. Взятый вне мяса, звук
не изнашивается в результате тренья
о разреженный воздух, но, близорук, из двух
зол выбирает большее: повторенье
некогда сказанного. Трезвая голова
сильно с этого кружится по вечерам подолгу,
точно пластинка, стачивая слова,
и пальцы мешают друг другу извлечь иголку
из заросшей извилины — как отдавая честь
наваждению в форме нехватки текста
при избытке мелодии. Знаешь, на свете есть
вещи, предметы, между собой столь тесно
связанные, что, норовя прослыть
подлинно матерью и т.д. и т.п., природа
могла бы сделать еще один шаг и слить
их воедино: тум-тум фокстрота
с крепдешинной юбкой; муху и сахар; нас,
в крайнем случае. То есть, повысить в ранге
достиженья Мичурина: у щуки уже сейчас
чешуя цвета консервной банки,
цвета вилки в руке. Но природа, увы, скорей
разделяет, чем смешивает. И уменьшает чаще,
чем увеличивает. Вспомни размер зверей
в плейстоценовой чаще: мы только части
крупного целого, из коего вьется нить

к нам, как шнур телефона, от динозавра
оставляя простой позвоночник; но позвонить
по нему больше некуда, кроме как в послезавтра,
где откликнется лишь инвалид — зане
потерявший конечность, подругу, душу
есть продукт эволюции. И набрать этот номер мне
как выползти из воды на сушу.

ГОРЕНИЕ

Зимний вечер. Дрова
охваченные огнем —
как женская голова
ветреным ясным днем.

Как золотится прядь,
слепотою грозя!
С лица ее не убрать.
И к лучшему, что нельзя.

Не провести пробор,
гребнем не разделить:
может открыться взор,
способный испепелить.

Я всматриваюсь в огонь.
На языке огня
раздается "Не тронь"
и вспыхивает "меня!"

От этого — горячо.
Я слышу сквозь хруст в кости
захлебывающееся "еще!"
и бешеное "пусти!"

Пылай, пылай предо мной,
рваное, как блатной,
как безумный портной,
пламя еще одной

зимы! Я узнаю
патлы твои. Твою
завивку. В конце концов —
раскаленность щипцов!

Ты та же, какой была
прежде. Тебе не впрок
раздевшийся догола,
скинувший все швырок.

Только одной тебе
и свойственно, вещь губя,
приравниванье к судьбе
сжигаемого — себя!

Впивающееся в нутро,
взвивающееся вовне,
наряженное пестро,
мы снова наедине!

Как ни скрывай черты,
но предаст тебя суть,
ибо никто, как ты,
не умел захлестнуть,

выдохнуться, воспрясть,
метнуться наперерез.
Назорею б та страсть,
воистину бы воскрес!

Пылай, полыхай, греши,
захлебывайся собой.

Как менада пляши
с закушенной губой.

Вой, трепещи, тряси
вволю плечом худым.
Тот, кто вверху еси,
да глотает твой дым!

Так рвутся, треща, шелка,
обнажая места.
То промелькнет щека,
то полыхнут уста.

Так рушатся корпуса,
так из развалин икр
прядают, небеса
вызвездив, сонмы искр.

Ты та же, какой была.
От судьбы, от жилья
после тебя — зола,
тусклые уголья,

холод, рассвет, снежок,
пляска замерзших розг.
И как сплошной ожог —
не удержавший мозг.

КЕЛЛОМЯКИ

I

Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны,
городок из фанеры, в чьих стенах, едва чихни —
телеграмма летит из Швеции: "Будь здоров".

И никаким топором не наколешь дров
отопить помещение. Наоборот, иной
дом согреть порывался своей спиной
самую зиму и разводил цветы
в синих стеклах веранды по вечерам; и ты,
как готовясь к побегу и азимут отыскав,
засыпала там в шерстяных носках.

II

Мелкие, плоские волны моря на букву "б",
сильно схожие издали с мыслями о себе,
набегали извилинами на пустынный пляж
и смерзались в морщины. Сухой мандраж
голых прутьев боярышника вынуждал порой
сетчатку покрыться рябой корой.

А то возникали чайки из снежной мглы,
как замусоленные ничьей рукой углы
белого, как пустая бумага, дня;
и подолгу никто не зажигал огня.

III

В маленьких городках узнаешь людей
не в лицо, но по спинам длинных очередей;
и население в субботу выстраивалось гуськом,
как караван в пустыне за сах. песком
или сеткой салаки, пробивавшей в бюджете брешь.
В маленьком городе обыкновенно ешь
то же, что остальные. И отличить себя
можно было от них лишь срисовывая с рубля
шпиль кремля, сужавшегося к звезде,
либо — видя вещи твои везде.

IV

Несмотря на все это, были они крепки,
эти брошенные спичечные коробки
с громыхавшими в них посудой двумя-тремя
сырыми головками. И, воробья кормя,
на него там смотрели всею семьей в окно,
где деревья тоже сливались потом в одно
черное дерево, стараясь перерастить
небо — что и случалось часам к шести,
когда книга захлопывалась и когда
от тебя оставались лишь губы, как от того кота.

V

Эта внешняя щедрость, этот, на то пошло,
дар — холодея внутри, источать тепло
вовне — постояльцев сближал с жильем,
и зима простыню на веревке считала своим бельем.
Это сковывало разговоры; смех
громко скрипел, оставляя следы, как снег,
опушавший изморосью, точно хвою, края
местоимений и превращавший "я"
в кристалл, отливавший твердую бирюзой,
но таявший после твоей слезой.

VI

Было ли вправду все это? и если да, на кой
будоражить теперь этих бывших вещей покой,
вспоминая подробности, подгоняя сосну к сосне,
имитируя — часто удачно — тот свет во сне?
Воскресают, кто верует: в ангелов, в корни (лес);
а что Келломаки ведали, кроме рельс
и расписанья железных вещей, свистя
возникавших из небытия пять минут спустя
и растворявшихся в нем же, жадно глотавшем жуть,
мысль о любви и успевших сесть?

VII

Ничего. Негашенная известь зимних пространств, свой
корм
подбирая с пустынных пригородных платформ,
оставляла на них под тяжестью хвойных лап
настоящее в черном пальто, чей драп,
более прочный, нежели шевиот,
предохранял там от будущего и от
прошлого лучше, чем дымным стеклом — буфет.
Нет ничего постоянной, чем черный цвет;
так возникают буквы, либо — мотив "Кармен",
так засыпают одетыми противники перемен.

VIII

Больше уже ту дверь не отпереть ключом
с замысловатой бородкой, и не включить плечом
электричество в кухне к радости огурца.
Эта скворешня пережила скворца,
кучевые и перистые стада.
С точки зрения времени, нет "тогда":
есть только "там". И "там", напрягая взор,
память бродит по комнатам в сумерках, точно вор,
шаря в шкафах, роняя на пол роман,
запуская руку к себе в карман.

IX

В середине жизни, в густом лесу,
человеку свойственно оглядываться — как беглецу
или преступнику: то хрустнет ветка, то — всплеск
струи.

Но прошедшее время вовсе не пума и
не борзая, чтоб прыгнуть на спину и, свалив
жертву на землю, вас задушить в своих
нежных объятьях: ибо — не те бока,
и Нарциссом брезгающая река
покрывается льдом (рыба, подумав про
свое консервное серебро,

X

уплывает заранее) . Ты могла бы сказать, скрепя
сердце, что просто пыталась предохранить себя
от больших превращений, как та плотва;
что всякая точка в пространстве есть точка "а"
и нормальный экспресс, игнорируя "b" и "с",
выпускает, затормозив, в конце
алфавита пар из запятых ноздрей.
что вода из бассейна вытекает куда быстрее,
чем вливается в оный через одну
или несколько труб: подчиняясь дну.

XI

Можно кивнуть и признать, что простой урок
лобачевских полозьев ландшафту пошел не впрок,
что Финляндия спит, затаив в груди
нелюбовь к лыжным палкам — теперь, поди,
из алюминия: лучше, видать, для рук.
Но по ним уже не узнать, как горит бамбук,
не представить пальму, муху це-це, фокстрот,
монолог попугая — вернее, тот
вид параллелей, где голым — поскольку край
света — гулял, как дикарь, Маклай.

XII

В маленьких городках, хранящих в подвалах скарб,
как чужих фотографий, не держат карт —
даже игральных — как бы кладя предел
покушеньям судьбы на беззащитность тел.
Существуют обои; и населенный пункт
освобождает ими от внешних пут
столь успешно, что дым норовит назад
воротиться в трубу, не подводить фасад;
что оставляют слившиеся в одно
белое после себя пятно.

XIII

Необязательно помнить, как звали тебя, меня;
тебе достаточно блузки и мне — ремня,
чтоб увидеть в трельяже (то есть, подать слепцу),
что безымянность нам в самый раз, к лицу,
как в итоге всему живому, с лица земли
стираемому беззвучным всех клеток "пли".
У вещей есть пределы. Особенно — их длина,
неспособность сдвинуться с места. И наше право на
"здесь" простиралось не дальше, чем в ясный день
клином падавшая в сугробы тень

XIV

дровяного сарая. Глядя в другой пейзаж,
будем считать, что клин этот острый — наш
общий локоть, выдвинутый вовне,
которого ни тебе, ни мне
не укусить, ни, подавно, поцеловать.
В этом смысле, мы слились; хотя кровать
даже не скрипнула. Ибо она теперь
целый мир, где тоже есть сбоку дверь.
Но и она — точно слышала где-то звон —
годится только, чтоб выйти вон.

То не Муза воды набирает в рот,
то, должно, крепкий сон молодца берет,
и махнувшая вслед голубым платком
наезжает на грудь паровым катком.

И не встать ни раком, ни так словам,
как назад в осиновый строй дровам,
и глазами по наволочке лицо
растекается, как по сковороде яйцо.

Горячей ли тебе под сукном шести
одеял в том садке, где — Господь прости —
точно рыба — воздух, сырой губой
я хватал то, что было тогда тобой?

Я бы заячьи уши пришил к лицу,
наглотался б в лесах за тебя свинцу,
но и в черном пруду из дурных коряг
я бы всплыл пред тобой, как не смог "Варяг".

Но, видать, не судьба, и года не те,
и уже седина стыдно молвить где,
больше синих жил, чем для них кровей,
да и мысли мертвых кустов кривей.

Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него — и потом сотри.

Я был только тем, чего
ты касалась ладонью,
над чем в глухую, воронью
ночь склоняла чело.

Я был лишь тем, что ты
там, внизу, различала:
смутный облик сначала,
много позже — черты.

Это ты, горяча,
ошую, одесную
раковину ушную
мне творила, шепча.

Это ты, теребя
штору, в сырую полость
рта вложила мне голос,
окликавший тебя.

Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
даровала мне зрячесть.
Так оставляют след.

Так творятся миры,
Так, сотворив, их часто
оставляют вращаться,
расточая дары.

Так, бросаем то в жар,
то в холод, то в свет, то в темень,
в мирозданьи потерян,
кружится шар.

СОДЕРЖАНИЕ

„Я обнял эти плечи и взглянул”	7
Песенка	8
Ночной полет	9
„В твоих часах не только ход, но тишь”	12
„Ты — ветер, дружок. Я — твой”	13
„Что ветру говорят кусты”	14
Черные города	15
Загадка ангелу	17
„Ветер оставил лес”	20
Ломтик медового месяца	21
Из ”Старых английских песен”	22
Песни счастливой зимы	24
„Ты выпорхнешь, малиновка, из трех”	26
Песня	27
„Как тюремный засов”	28
„Деревья в моем окне, в деревянном окне”	30
„Шум ливня воскрешает по углам”	31
Развивая Крылова	32
Для школьного возраста	34
Зимняя почта	35
Псковский реестр	39
Гвоздика	43
„Дни бегут надо мной”	44
„Тебе, когда мой голос отзвучит”	45
„Твой локон не свивается в кольцо”	46
Румянцевой победам	48
„Осенью из гнезда”	50
Новые стансы к Августе	51
Пророчество	57

„О, как мне мил кольцообразный дым”	59
<i>Einem alten Architekten in Rom</i>	60
Письмо в бутылке	66
„Колокольчик звенит”	76
Дидона и Эней	78
Сонет	79
К Ликомеду, на Скирос	80
Почти элегия	82
Элегия	83
„Отказом от скорбного перечня — жест”	84
Строфы	86
<i>Anno Domini</i>	90
Шесть лет спустя	94
„Раньше здесь щебетал щегол”	96
Стихи в апреле	97
Любовь	98
Сретенье	100
Одиссей Телемаку	103
„Песчаные холмы, поросшие сосной”	104
„Помнишь свалку вещей на железном стуле”	106
„Повернись ко мне в профиль. В профиль черты лица”	107
Строфы	108
Двадцать сонетов к Марии Стюарт	117
„Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря”	129
„Ты забыла деревню, затерянную в болотах”	130
„Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной”	131
Элегия	132
Горение	134
Келломяки	137
„То не Муза воды набирает в рот”	144
„Я был только тем, чего”	145

Книги И. Бродского

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ (1965)

ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ (1970)

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ (1977)

ЧАСТЬ РЕЧИ (1977)